

когого катаклизма (самосбора), выжить после которого можно, спрятавшись за герметичными дверями. Описание пространства — Гигахруща — отчасти напоминает зону у Стругацких, некую темную постсоветскую фантазию, выстроенную как многоуровневая виртуальная реальность. Автор доклада отметил, что во вселенной самосбора (а это многочисленные рассказы и арт-проекты) умолчание используется для достижения нескольких задач: для создания необходимого эффекта неопределенности, неизвестности, через введение и использование неясных для стороннего, а иногда и для «своего» читателя названий и слов, а также создания новых сюжетов, совмещающих недосказанность и абсурд. Особый коммуникативный жанр самосбора не является уникальным, по схожим принципам работают многие телешоу, например «Секретные материалы», подобные элементы сюжета встречаются и в компьютерной игре «Сталкер» и т.д. Но именно на примере самосбора удобнее всего, по утверждению докладчика, показать работу умолчания. Попытка аналитического описания сетевых феноменов, как показалось слушателям, весьма богатый и пока совершенно не исследованный материал. Отвечая на вопросы, Арсений Круглов предположил, что именно умолчание стало причиной увядания коммуникации внутри названного проекта на некоторых ресурсах.

Завершилась работа Пирровых чтений дискуссией и обсуждением новой тематики конференции на следующий год.

Анна Синицкая

Российская научная конференция
**«(Авто)биографическая печаль: эмоции
в личных нарративах и исследовательских
практиках XVI—XXI веков»**

(ШАГИ РАНХиГС, 30 сентября — 1 октября 2022 года)

DOI: 10.53953/08696365_2023_180_2_400

Тема конференции, организованной Лабораторией историко-культурных исследований ШАГИ РАНХиГС и посвященной истории эмоций, была выбрана очень точно: печаль осенью 2022 года оказалась эмоцией весьма актуальной.

Впрочем, свои печали имелись у людей и в далеком прошлом, причем форму для рассказа об этих печалях наши предки выбирали порой довольно своеобразную.

Одной из таких оригинальных форм был посвящен доклад «*Книжная печаль: эмоции в автобиографиях XVI века*», который прочел Михаил Сергеев (СПбФ ИИЕТ РАН, Санкт-Петербург). В ту эпоху, о которой говорил докладчик, биографии зачастую становились формой рефлексии биографов о создании и восприятии их произведений, то есть об их собственных успехах. Например, Джероламо Кардано (1501—1576) включил в автобиографическое сочинение «*De vita propria*» (изд. 1663) каталог отзывов на свои сочинения из более чем 70 названий, причем не обошел вниманием и отзывы отрицательные, но с удовлетворением отметил, что их авторы уже умерли и своими нападками «ничего не достигли». В подобных случаях рассказ о собственных книгах не только органично входит в автобиогра-

фию, но и практически ее заменяет. Двумя главными героями доклада стали английский драматург и антикварий Джон Бейл (1495—1563) и «отец современной библиографии» швейцарец Конрад Геснер (1516—1565). Для Бейла, который начал свой жизненный путь католиком в католическом монастыре, а на пороге сорокалетия вышел из монастыря, перешел в протестантизм и женился, религиозная идентификация значила очень много. В рассказе о собственной жизни он не стремится скрыть первоначальный католический период, но подыскивает для него оправдания. Это отражается и в списке собственных трудов, который он включает в состав труда «*Illustrium majoris Britanniae scriptorum... summarium*» (1548). Список разделен на несколько разрядов. В первый входят труды, которые сам автор называет плодами «бедного ума и скудной мысли»; это — сочинения католического периода. Второй разряд — труды, сочиненные в пору религиозной свободы. В третий и четвертый входят сочинения на английском языке в стихах и в прозе, в основном полемические, причем само включение в библиографию сочинений, написанных не только на латыни, но и на английском, было осознанной новацией. Вследствие такого построения библиография обрисовывала жизненный путь автора, его эволюцию от католичества к протестантизму, и концовка ее была проникнута биографическим и библиографическим оптимизмом. Если Бейлу в момент написания автобиблиографии было 53 года, то Геснеру в момент создания труда «*Bibliotheca universalis*» (1545), также включавшего автобиблиографические пассажи, исполнилось всего 29 лет. Печаль Бейла была связана с католическим периодом его жизни, что же касается Геснера, то его печаль носила сугубо библиографический характер: его первой публикацией стало переиздание в 1537 году греко-латинского словаря итальянского лексикографа Фаворина (1523); Геснер внес в словарь Фаворина огромное количество дополнений и исправлений, но печатник Иоганн Вальдер не включил их в книгу, возможно потому, что намеревался обогатить ими следующие издания, но вскоре умер, а рукопись с исправлениями пропала. Геснеру это, разумеется, было очень обидно, и в своем библиографическом эго-нарративе он подробно описал этот казус. Таким образом, Бейл сетовал на содержание своих первых, «неправильных» сочинений, а Геснер — на издательскую этику.

В следующем докладе на смену огорчениям XVI века пришли печали XVII столетия, и оказались они намного трагичнее, поскольку в этом случае дело шло о жизни и смерти. *Мария Неклюдова* (ШАГИ РАНХиГС, Москва) прочла доклад «*Призрак и биография: “последние слова” осужденных в английских политических памфлетах 1680-х годов*». Предметом рассмотрения докладчицы стали весьма экзотические с современной точки зрения литературные жанры сенсационного характера — речи на эшафоте, произносимые приговоренными к смерти, а также посмертные высказывания казненных, приписываемые их призракам, являющимся с того света. Периодом наибольшего распространения этих жанров стало десятилетие с 1678 по 1688 год, поскольку на него пришлись целых три заговора: папистский заговор (1678), амбарный заговор (1683), восстание Монмута (1685). Первый из них был почти полностью вымышленным (что, впрочем, не помешало властям устроить вполне реальные казни), во втором случае никаких реальных действий «заговорщики» не производили, но вели крамольные политические разговоры; наконец, в третьем случае имело место настоящее восстание. Все три заговора были связаны с проблемой престолонаследия: царствующий король Карл II был близок к смерти, его наследник Яков II исповедовал католическую веру, и это очень не нравилось англиканам-заговорщикам. И так, казнимые за политические преступления произносили свои последние слова на эшафоте. Однако такие речи звучали из уст виновных не только в политических, но и в уголовных преступлениях, и речи политических преступников неизбежно воспринимались на фоне речей уголовни-

ков. От уголовников же требовали перед смертью публичного покаяния, а они порой вместо этого продолжали настаивать на своей невинности. Бывали еще более сложные случаи: например, ирландский разбойник с большой дороги обратился к толпе и призвал ее «остерегаться дурного общества»; казалось бы, это именно то, что от него требовалось, но он католик и, значит, покаянными речами утверждает свою веру; приходится ему специально подчеркнуть, что он, хотя католик и бандит, но в измене королю неповинен. Подобно уголовникам, политические преступники зачастую используют последнее слово на эшафоте не для покаяния, а для того, чтобы лишний раз заверить, что они неповинны в приписываемых им преступлениях (что, кстати, нередко оказывалось правдой). Отчеты о казни с пересказом последних слов во многом следовали традиции, и их нельзя считать репортажем в современном смысле слова; однако попадают в них и детали, которые, скорее всего, подлинны: так, приговоренный к смерти за убийство Джон Хатчинс перед тем, как подняться на эшафот, отдал брату «свою шляпу и апельсин». Вот этот апельсин, по всей вероятности, не выдуман. Последнее слово на эшафоте — жанр, казалось бы, устный. Однако многие политические преступники, видимо, боясь, что их речи приравняют к стандартным последним словам грабителей и убийц, а также чтобы избежать неточностей при последующем воспроизведении, ищут предлоги (плохая память, шум толпы, заглушающий голос говорящего) для того, чтобы написать свои речи заранее и вручить друзьям для напечатания. Больше того, нередко последние слова печатались заранее и в момент казни распространялись в толпе уже в печатном виде. Но этим дело не ограничивалось: уже после казни из печати выходили памфлеты, в которых призраки казненных, явившиеся с того света, опровергали содержание собственных последних слов. Более того, призраки эти порой «материализовывались», и, например, после казни лорда Рассела, чье последнее слово распространялось особенно широко, партия его противников даже нашла человека, которого нарядила в костюм Рассела, и в таком виде он опровергал сам себя. И если казненный перед казнью отказывался каяться, то призрак являлся с того света, чтобы исправить ошибку и все-таки покаяться в грехах.

В ходе обсуждения доклада *Дмитрий Калугин* (НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург) поинтересовался: имелись ли призраки у протестантов или их явление было прерогативой католиков? Неклюдова ответила, что большая часть заговорщиков как раз принадлежала к англиканам, но это не мешало явлению их призраков. Протестантская церковь не отрицала их явления, но видела в них проделки нечистого. Однако к концу XVII века такая точка зрения отступила под влиянием народных верований, согласно которым призраки считались вовсе не дьявольскими посланниками, а просто тенями умерших, которые не успели довершить свои дела на земле. Михаил Сергеев задал вопрос, естественный для историка книги: кто заказывал печатание последних слов и речей призраков? Неклюдова ответила, что если некоторые памфлеты, посвященные уголовным процессам, печатались по заказу правительства и хорошо расходились, то последние слова, раздававшиеся зрителям в момент казни, печатались незаконно и без имени издателя; впрочем, его все равно находили (по шрифту, бумаге и доносам) и наказывали.

Доклад *Дмитрия Калугина* и *Натальи Моввиной* (НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург) назывался «*Страдать или наслаждаться? К топике русской эпистолярной и автобиографической прозы первой половины XIX века*». Произнес его Дмитрий Калугин. Глаголы, использованные в названии, выражают, казалось бы, два противоположных состояния; однако в первой трети XIX века русские мыслители, знатоки немецкой философии и читатели «Фауста» Гёте, осознали, что для человека, реагирующего на происходящее в мире с максимальной интенсивностью, важно не противопоставление наслаждения и страдания, а их своеобразный синтез. Толь-

ко он способен обеспечить полноту жизни — понятие, которое, собственно говоря, и стало истинным предметом доклада. Начав с цитаты из «Писем русского путешественника» Карамзина: «Сердце, в полноте жизни, творит для себя будущее, какое ему мило; все кажется возможным, все близким», докладчик перешел к поискам «полноты жизни» в эпистолярной и мемуаристике молодых интеллектуалов 1830-х годов, близких к Московскому университету. Все они мечтали «видеть жизнь во всей ее полноте» (М. Бакунин) и скорбели об отсутствии «той полноты жизни, которая бодро встречает все обстоятельства и создает себе рай из страданий» (Н. Станкевич). Понятие «полнота жизни» воплощало для мыслителей этого круга мир, не противостоящий индивиду, не отчужденный, как в романтическом переживании, но открытый социальному творчеству. Особенно богато топика «полноты жизни» представлена в творчестве Герцена. Его стремление к полноте жизни было связано с критикой «проклятого» невнимания к настоящему, с призывом не отказываться от счастья, использовать все возможности, ловить каждое мгновение. Однако в реальности все складывалось не так гладко: полнота жизни предполагала единение со всем человечеством, для чего требовалось совершить революцию, в революции же 1848 года Герцен жестоко разочаровался. Кроме того, герценовская проблематизация счастья носила не только политический, но и экзистенциальный характер: проблема в том, что счастье, пережитое в настоящем, немедленно уходит в прошлое и переживается уже как таковое; внутри настоящего задержаться невозможно. В ходе обсуждения Екатерина Лямина поинтересовалась, были ли декларации невозможности блаженства без страдания только декларациями или все это переживалось всерьез? Калугин ответил, что жизнестроительством его герои занимались всерьез и что они исходили из неразличимости того, что ты пишешь, и того, что ты делаешь. Был задан и вопрос по поводу названия: сознательно ли авторы доклада изменили одну букву в цитате из известного романа («Мне все равно, страдать или наслаждаться»); в ответ Калугин сказал, что о цитировании романа даже не думал; это лишний раз доказывает, насколько различается «цитатный фонд» даже у людей, принадлежащих к одному и тому же научному кругу.

Вера Мильчина (ИВГИ РГГУ / ШАГИ РАНХиГС, Москва) прочла доклад «Удачные последствия неудачного сватовства: Николай Тургенев в Англии». Докладчица в самом начале призналась, что доклад на сходную тему она уже однажды произнесла, и было это ни много ни мало в 1997 году на Седьмых Эйдельмановских чтениях. Однако доклад так и не был превращен в печатную статью, и отголоски его можно найти только в отчете о конференции, который сама докладчица опубликовала сначала в журнале «Знание — сила», а затем в своей книге «Хроники постсоветской гуманитарной науки» (НЛО, 2019); на этот отчет кратко сослались два исследователя наследия Н.И. Тургенева, но в обстоятельной статье о нем в словаре «Русские писатели. 1800—1914» (2019, т. 6) описанный эпизод даже не упомянут, поэтому Мильчина сочла возможным с привлечением новых материалов вернуться к старой теме¹. Сначала докладчица напомнила общеизвестные исторические обстоятельства: Николай Иванович Тургенев (1789—1871), политический мыслитель и экономист, был в 1810 — начале 1820-х годов не только высокопоставленным государственным служащим, но и членом тайных обществ. В начале 1824 года он взял отпуск и выехал на лечение за границу. Во время восстания 14 декабря 1825 года он находился в Париже, а в январе 1826 года в Эдинбурге узнал,

1 За время, прошедшее после конференции, доклад успел превратиться в публикацию: Мильчина В.А. Удачные последствия неудачного сватовства: Николай Тургенев в Англии (1829—1830) // Slavica Revaliensia. 2022. Т. IX. С. 39—70.

что привлечен к следствию по делу о восстании и что власти России требуют, чтобы он явился в Россию на суд. Тургенев явиться отказался, был заочно приговорен к смертной казни, подтвержденной в пожизненные каторжные работы, и остался в Англии, откуда не мог быть выдан российским властям. До 1829 года он всячески убеждал своего брата Александра Ивановича и самого себя, что с Россией у него отныне нет ничего общего и возвращаться туда он не хочет и не намерен. Однако в 1829 году он пересмотрел свое решение и стал всерьез обдумывать перспективу явки в Россию на «пересуд», поскольку себя виновным не признавал. Конечно, у этого решения имелись объективные причины — в начале 1830 года хлопотавший за друга поэт Жуковский сообщил Тургеневу, что император готов «отдать ему справедливость», если он вернется в Россию (довольно скоро, правда, выяснилось, что Жуковский неверно истолковал слова государя и возвращение для Тургенева по-прежнему крайне опасно). Это все факты известные. Неизвестно другое: что желание вернуться в Россию ради того, чтобы снять с себя клеймо государственного преступника, возникло у Тургенева под влиянием довольно мощного личного стимула. Давний друг князь Петр Борисович Козловский, также живший в 1829 году в Англии и влюбленный в графиню Сару Гвидобони-Висконти, урожденную Лоуэлл, задался целью женить Николая Ивановича на сестре Сары, дочери помещика Питера Харвея Лоуэлла (Ловеля в транскрипции XIX века) Гарриет (Генриетте) Лоуэлл, жившей в поместье Коул-Парк (графство Уилтшир). Переписка Николая Ивановича с братом Александром Ивановичем сохранила идиллические картины пикников на природе и других сцен ухаживания «государственного преступника» за той, которую он ласково называл за «скромность и доброту» «своей квакершей», а также в высшей степени трогательные доказательства самоотвержения Александра Тургенева, который готов был отдать все свое состояние брату и убеждал, что скромный образ жизни гораздо полезнее для здоровья и что если бы он, Александр, «не ходил бы пешком, а имел бы экипажи», то все болезни бы к нему возвратились. Однако уилтширский помещик не захотел отдавать дочь за иностранца, да еще с такой сомнительной репутацией. В сознании Тургенева возвращение в Россию на «пересуд» и женитьба в Англии были связаны очень прочно, но ему не удалось ни то, ни другое. После Июльской революции французское правительство тоже переставало выдавать политических преступников, и Тургенев смог поселиться во Франции, но и там был одинок — как из-за необщительного характера, так и из-за двусмысленности своего положения в глазах французского общества: консерваторы видели в нем политического изгнанника (*réfugié*) и не хотели иметь с ним дела; политические же изгнанники, возможно, общаться с ним бы захотели, но с ними общаться не хотел он сам. Родные и друзья продолжали искать ему невесту, и в результате 12 октября 1833 года он женился в Женеве на протестантке Кларе Виарис (1814—1891), в браке с которой прожил до самой смерти. Возвращаясь к теме конференции: судьба Николая Ивановича была довольно печальна, но конец у этой истории весьма оптимистический. Благодаря тому, что Николай Иванович не женился на Гарриет Лоуэлл, брат его Александр Иванович навещал его не в Англии, а в Париже, и этому обстоятельству мы обязаны уникальными очерками французской культурной и литературной жизни, которые он публиковал в русских журналах и которые стараниями М.И. Гиллельсона были изданы в 1964 году в серии «Литературные памятники» под названием «Хроника русского».

Светлана Волошина (ШАГИ РАНХиГС, Москва) построила свой доклад «Наедине я видел 'царя' раза три или четыре в жизни»: личная государственная печаль в дневниках М.А. Корфа (1839—1849)» на дневниковых записях высокопоставленного чиновника Модеста Андреевича Корфа, как изданных, так и неопубликованных. Отсутствие союза «и» между словами «личная» и «государственная»

в названии доклада глубоко значимо. Для Корфа главной и едва ли не единственной страстью, главным предметом жизненного интереса были политические взаимоотношения внутри верхушки Российской империи. Он тщательно протоколировал в дневнике все слухи и сплетни, связанные с карьерными назначениями и интригами (причем всегда указывал источник, то есть человека, от которого он эти слухи и сплетни услышал). В дневниковой записи от 24 января 1843 года встречается характерная формулировка: «личный доклад у государя — счастье, которое составляет конечную цель всей нашей службы». Хотя Корф мог быть и нередко бывал весьма остер на язык, в данных словах, заверила докладчица, никакой иронии нет; в системе координат Корфа доклад у государя и доброе слово государя в самом деле считались высшей ценностью. Впрочем, не меньшей ценностью было и продвижение по службе, а вот в этом отношении Корф полагал себя (не без оснований) недооцененным, и именно это было постоянным источником его «личной государственной печали». Девять лет Корф занимал трудную, но недостаточно престижную должность секретаря Государственного совета, затем наконец получил «инвалидную должность члена Государственного совета», а еще позже должность члена комитета по надзору над цензурой, о которой писал, что она «противна его вкусам и даже правилам», а главное, не сулит возможностей «непосредственного сношения с государем» (эта почетная миссия была возложена на председателя комитета). Корф меж тем был уверен, что достоин большего, и мечтал стать наконец министром, однако при всем превосходном знакомстве с элементами бюрократической системы действовал как теоретик карьеризма, но не как его практик, и политического инстинкта для смещения конкурентов ему не хватало. Личное и государственное были для Корфа неразрывны, что же касается личной жизни в прямом смысле слова, ее он практически не связывал с жизнью социальной. Хотя Корф был прекрасным семьянином и дорожил семейными узами, он редко выводил семью в свет, приемы устраивал для очень узкого круга, а сам оставался (в дневнике) хладнокровным наблюдателем светских страстей, которые описывал без эмоционального включения, с ледяным любопытством энтомолога. Таким же тоном автор дневника регистрирует смерти и похороны, которые его ничуть не огорчают, за исключением тех случаев, когда умирает близкий родственник или покровитель. Веская причина горести для Корфа — это нерасположение государя или неполучение вожделенного министерского поста. Впрочем, когда в 1850 году ненавистный Уваров наконец оставляет пост министра народного просвещения, но назначают на него князя Ширинского-Шихматова, «изувера и святошу», Корф в дневнике объясняет свою горечь в связи с этим не завистью или «какой-нибудь индивидуальной к его лицу ненавистью», а исключительно заботой о государстве — болью «чувства русского, чувства человека, сердечно преданного государю и не могущего быть равнодушным к выбору его наперсников и орудий». Однако и о своем старшинстве в чине над Ширинским-Шихматовым Корф тоже не забывает упомянуть — и это усугубляет его печаль. Министром Корф так и не стал, но при Александре II был назначен главноуправляющим II Отделением императорской канцелярии, а затем председателем Департамента законов. Грусть о неудавшейся карьере ушла — а вместе с ней ушел и стимул к ведению дневника; после 1852 года записи делаются редкими.

Екатерина Лямина (ИМЛИ РАН, Москва) и *Наталья Самовер* (независимый исследователь, Москва) начали доклад «*“<Лучше бы мне не видеть> монумент Крылова”: Тарас Шевченко в Летнем саду весной 1858 года*» с изложения основных вех биографии Тараса Шевченко: служба подмастерьем в Петербурге в мастерской Карла Брюллова, выкуп талантливого юноши из крепостной зависимости на деньги Брюллова, Жуковского и графа Михаила Вельгорского («великого и чело-

веколюбивого трио», по слова самого Шевченко), жизненная катастрофа 1847 года (сложившийся художник и поэт, автор «Кобзаря», отдан в солдаты за «пасквильные стихи» на императора и императрицу); окончание службы в 1857 году и возвращение в Петербург годом позже. Шевченко вернулся настоящим триумфатором, одним из самых популярных представителей бесцензурной литературы, тем не менее душевная травма его была слишком велика, и, по свидетельству одного из его учеников, находясь в дурном настроении, он припоминал все горести, пережитые им с самого детства. Доклад Ляминой и Самовер был посвящен подробному разбору одного дня из жизни Шевченко, описанного в его дневнике за 30 апреля 1858 года. Три вехи его прогулки по столице — Казанский собор, где Шевченко хотел посмотреть написанный Брюлловым запрестольный образ «Взятие Божьей матери на небо»; Пассаж и, наконец, Летний сад и памятник Крылову. Все три этапа вызывают у Шевченко глубоко негативную реакцию. Картина Брюллова расположена так неудачно, что «и кошачьими глазами видеть ее невозможно»: Брюллов просил прорубить в Казанском соборе дополнительные окна, но император (по выражению Шевченко, «неудобозабываемый дрессированный медведь») не позволил, и Шевченко видит в этом надругательство над художником вообще и над боготворимым им Брюлловым в частности. В Пассаже, — говоря современным языком, торгово-развлекательном комплексе для среднего класса, — предстали глазам Шевченко «шляющиеся красавицы и алеутские болванчики». С красавицами все ясно; это, по выражению тогдашнего журналиста, «неблагопристойные лица, особенно женского пола». А вот для идентификации алеутских болванчиков докладчицам пришлось провести настоящее расследование, в результате которого оказалось, что это не акробаты и фокусники, как считали прежние комментаторы дневника Шевченко, а, скорее всего, ритуальные шаманские маски аборигенов Северной Америки, которые как раз в декабре 1857 года поступили в коллекцию петербургского Этнографического музея (хотя доказательств того, что их экспонировали в Пассаже, пока не нашлось). Как скоро стало ясно, алеутские болванчики заинтересовали докладчиц не случайно. Именно на них показалось похожим Тарасу Шевченко лицо Крылова на памятнике, который удостоился в дневнике самой нелестной и даже гневной характеристики: «Ничем не лучше алеутских болванчиков». «Жалкого барона Кюта» [Кюдта] Шевченко обвиняет в том, что «вместо величественного старца он посадил лакея в нанковом сертуке с азбучкой и указкою в руках» и что «жалкую статую и барельефы» он вылепил для детей, а не для взрослых. Докладчицы подробно разобрали каждую из составных частей этой филиппики. Сопоставление трех изображений: лица Кюдтова Крылова из Летнего сада, лица Крылова на портрете кисти Брюллова (1839) и на акварели с этого портрета, выполненной не позднее 1841 года самим Шевченко, и, наконец, вышеупомянутых алеутских масок, наглядно подтверждало, что Шевченко увидел в Крылове из Летнего сада истукана с лицом «болванчика», а не того величественного старца, которого боготворимый им Брюллов писал когда-то у него на глазах. В 1858 году он оценивает памятник Крылову, выполненный в раннереалистическом духе, как человек 1847 года, законсервировавший в себе позднеромантическую эстетику. Шевченко, ставший для современников олицетворением украинской народности, видел в Крылове олицетворение народности русской, «взрослого» поэта, а не «дедушку» со зверюшками на пьедестале. Другие современники считали совершенно нормальным, что вокруг памятника баснописцу играют дети, и эти идиллические картины запечатлены как на живописных полотнах, так и в путеводителях того времени. Нашелся, однако, один — и недюжинный — современник, который тоже увидел профанацию в памятнике из Летнего сада. Это Достоевский, относившийся к Крылову с таким же пиететом, как и Шевченко: в романе «Бесы» он констатирует

вал ничтожность памятника «для игры в детском возрасте», вложив его характеристику в уста капитана Лебядкина.

Ксения Гусарова (ИВГИ РГГУ / ШАГИ РАНХиГС, Москва) начала доклад «Черная тень “весны народов”: печали гидротерапевтов и их биографов» с указания на конфликт двух эмоциональных режимов: один из них характерен для официальной медицины, а другой — для медицины нетрадиционной. Представители официальной медицины осознают хрупкость отдельной человеческой жизни, однако научное сообщество с середины XIX века исходит из альтернативной идеи симпатии — не к отдельным существам, а к идеальному обществу будущего, ради которого позволительно кромсать подопытных животных, насильно прививать людей от опасных болезней и даже разделять принципы евгеники. Врачи с трудом привыкают к этому эмоциональному режиму, им приходится делать над собой усилие, чтобы принимать пациентов, не выказывая им сочувствия, и это раздвоение на обычного человека и хладнокровного медика становится предметом авторефлексии (докладчица продемонстрировала это на примере «Записок врача» В.В. Вересаева). Иначе обстояло дело у гидротерапевтов, последователей Винченца Присница, крестьянина из Австрийской Силезии, проповедовавшего лечение холодной водой самых разнообразных болезней. Сам Присниц никаких сочинений не оставил, но о его теории и практике поведали многочисленные ученики. У них никакой печали и авторефлексии до поры до времени не наблюдалось, у них (во всяком случае, если верить их сочинениям) всегда все было хорошо, все больные очень быстро выздоравливали, а если и умирали, то тем лишь подтверждали правильность поставленного диагноза. Омрачила эту благостную картину только революция 1848—1849 годов, от которой сам Присниц «утратил спокойствие ума» и впал в депрессию. Присница и его учеников тревожил тот факт, что из-за революционных беспорядков благополучие среднего класса, откуда вербовались основные их пациенты, оказалось под угрозой. На риторическом уровне Присниц был сторонником революции против тирании старой медицины, а гидропатию один из его биографов называл «борьбой света против тьмы, прогресса науки против невежества и реакционного варварства». Однако риторика не совпадала с практикой, и на практическом уровне опыт реальной революции вызывал у гидротерапевтов черную печаль. От революции не помогала даже спасительная вода. В ходе обсуждения Гусаровой был задан вопрос о связях гидротерапевтических жизнеописаний с христианской символикой. Гусарова ответила, что евангельские обертоны в этих жизнеописаниях безусловно присутствовали, ученики воспринимали Присница как нового мессию, а производимые им исцеления — как магические.

Екатерина Ключикова (ПГНИУ, Пермь) прочла доклад «Корейский “хан”: между “философской печалью” и гневом угнетенных». Слово «хан» употребляется в публичных дискуссиях о Корее для обозначения специфически корейского комплекса эмоций — смеси печали, гнева и тоски. Однако, в отличие, например, от русской тоски, у корейского «хана» имеется историческая и диаспорическая специфика. Исторически «хан» — смесь ярости и бессилия, присущая потомкам корейских эмигрантов в разных странах. Восприниматься он может в трех разных контекстах: 1) как индивидуальная печаль и скорбь, 2) как составная часть шаманского обряда ханпхури (ритуала освобождения духа от скорбей) и 3) как эмоция при исполнении пхансори — надрывного пения под звуки барабана. С «хан» связано также особое корейское психическое заболевание (огненная, или гневная, болезнь), от которого страдают преимущественно корейки среднего возраста (считалось, что болезнь настигает их как кара за обращение в христианство, то есть предательство национальных традиций). Идея «хан» как специфически корейской скорби возникла из желания корейцев отделить себя от японцев; впрочем, японцы

в колониальный период охотно поддерживали эстетизацию скорби у корейцев. «Хан» активно использовался в проповеднической практике в корейских протестантских церквях: предполагалось, что проповедник должен помочь справиться с этой смесью скорби и гнева. Что же касается диаспорического аспекта, то понятие «хан» оказалось востребованным вторым поколением корейцев, эмигрировавших в США после корейской войны: эти корейцы ощущали отчужденность от обоих обществ, и американского, и корейского, и по причине оторванности от исторической родины в их душах начинал прорастать «хан». Впрочем, едва ли не главным источником этой привязанности американских корейцев к понятию «хан» стало их знакомство с англоязычной этнографической литературой. Напротив, в советской литературе о Корее о «хан» никто не писал, и потому потомки других корейских эмигрантов, переселившихся в Россию во второй половине XIX века («корё сарам»), прибегали к этому понятию для обозначения коллективной печали и скорби очень редко. Только после перестройки те из них, кто смогли побывать в Южной Корее, узнали о существовании «хан» и стали использовать его в качестве показателя своей корейской идентичности, при этом нередко трактуя его весьма индивидуально. Так, для Анатолия Кима хан — это еще и специфически мужское благоговение перед женской красотой. А его однофамилец Владимир Ким в статье «Корейские пословицы и поговорки» вообще, по всей вероятности, перепутал два похожих иероглифа, и потому у него «хан» стал означать не только негодование и жалость, но также «предел всех наших чувств, желаний, страстей». В ходе обсуждения у докладчицы спросили, как обстоит дело с «хан» в Северной Корее; она ответила, что об этом — как и о многом другом, происходящем в этой закрытой стране, — ничего не известно.

Виктория Мерзлякова (РГУ / ИОН РАНХиГС, Москва) в докладе «*Эмоции печали в конструировании нарратива памяти поколения: опыт художественного осмысления документального источника о личном опыте 1990-х*» обратилась к недавнему российскому прошлому. Предметом ее анализа стал один из сборников, появившихся в рамках серии «Народная книга», выпускаемой издательской группой «Эксмо — АСТ». Серия эта была анонсирована создателями как «книги авторов из народа с их воспоминаниями». Среди сборников, вошедших в серию, — «Детство 45—53», «Дети войны» и др. Предметом анализа докладчицы стал двухтомник «Были 90-х», вышедший под редакцией известной сочинительницы детективных романов Александры Марининой. Весь проект был задуман ради того, чтобы наконец получить доступ к «объективной реальности». Поэтому издатели обратились к читателям с просьбой присылать им свои истории на заданную тему объемом не более 10 тысяч знаков, а затем составитель отбирал для печати сотню таких историй, к которым добавлял имя автора и немногие сведения о нем. Казалось бы, воспоминания о 1990-х годах, к которым — не в последнюю очередь благодаря детективным романам и кинофильмам — прочно приклеился эпитет «лихие», должны были полниться жалобами и печалью. Но, к удивлению составительницы, вкладчики ее сборника предпочитали вспоминать не о плохом, а о хорошем. Как выражается сама Маринина в предисловии к первому тому «Былей 90-х», названном «Как мы выживали», «моря слез не случилось». И обложка первого тома, и названия разделов (например, «И все рухнуло») готовят читателя к печальным впечатлениям, однако сами тексты этих ожиданий не оправдывают. Прямого названия отрицательных эмоций в разговоре о собственных переживаниях авторы избегают; максимум, что они себе позволяют, — это приписывание таких эмоций другим людям («он смотрел тоскливо»), но общий колорит далек от трагизма и уныния; отношение к пережитому точнее всего определяется употребленным одним из авторов словом «грустинка». Если же авторы описывают какие-то катастро-

фические события (типа «потеряв на ваучере свою квартиру»), то, увиденные по прошествии времени, и эти события становятся источником оптимизма: когда-то ужасные события грозили безнадежностью в будущем, но вот будущее наступило, и эти страшные опасения не сбылись. В ходе обсуждения доклада естественным образом зашел разговор о степени достоверности включенных в двухтомник историй. Докладчица сказала, что требовались истории истинные, однако их правдивость никто не контролировал, стиль же текстов и детали биографий некоторых авторов («Ирина Милопольская, врач-психиатр, писатель, автор романов “Педофил”, “Порок сердца”») позволяет предположить, что рассказы их — плоды весьма значительной литературной обработки. Ксения Гусарова упомянула западный аналог таких рассказов с оптимистическим финалом — «неолиберальные автобиографии», авторы которых стремятся показать, с каким успехом они преодолели жизненные трудности. Обсуждались и конкретные детали: например, каким образом можно было «потерять квартиру на ваучере», и та же Ксения Гусарова предложила остроумную гипотезу: «продал квартиру и купил ваучер».

Галина Зеленина (ШАГИ РАНХиГС / РГГУ, Москва) назвала свой доклад «Рождение еврейства из духа депрессии: дневник китаиста В.А. Рубина в эго-документальном контексте», однако сразу предупредила, что, хотя весь доклад основан на документальных источниках, слово «депрессия» в них не употребляется, оно привнесено самой докладчицей. Начало доклада было посвящено рассказу о жизненном пути его героя, Виталия Ароновича Рубина (1923—1981), который во время войны участвовал в боях под Москвой, попал в плен, через три дня бежал оттуда, после чего был отправлен в так называемый лагерь спецпроверки под Москвой, где два года работал откатчиком в шахте, заработал туберкулез, а после войны с огромным трудом восстановился на истфаке МГУ, где учился до войны, причем выбрал в качестве специализации историю Китая потому, что китайский язык был одной из немногих областей, которой не занимался его отец Арон Ильич Рубин, мыслитель широкого профиля, оказавший на сына огромное интеллектуальное влияние. Далеко не сразу, после нескольких лет преподавания русского языка китайским студентам в Новочеркасске, Виталий Рубин занял вполне достойное место в академической структуре: защитил кандидатскую диссертацию, начал работать старшим научным сотрудником в Институте востоковедения, выпустил книгу «Идеология и культура Древнего Китая» (1970). Тем не менее дневник Рубина пронизан тоской, ощущением паралича воли и неспособности радоваться и общаться с людьми — отрицательными эмоциями, которые уступают место мечтам о перемене участи только после того, как в 1968 году он узнал о возможности для него выехать в Израиль. До этого еврейская тема в его записях была очень редуцирована, и выезд он поначалу мыслил скорее как бегство из СССР, чем как возвращение на историческую родину. Однако постепенно Рубин проникается сознанием своего еврейства. Подав документы на выезд в 1972 году, он четыре года не получал разрешения, стал одним из лидеров московских «отказников» и в этот период почти простился с тем состоянием, которая докладчица назвала депрессией. Теперь он обретает агентность, проникается убеждением, что был рожден не для изучения Древнего Китая, а для того, чтобы «принять участие в Исходе русских евреев», и ведет активную борьбу, в которой ему помогают на Западе (в Нью-Йорке даже организуется международный комитет в его защиту). В 1976 году борьба увенчивается успехом. Рубина с женой выпускают в Израиль, и там начинается «третья жизнь» китаиста, которая внешне весьма благополучна: он преподает историю китайской философии в Иерусалимском университете, путешествует по миру. Однако Рубин испытывает не удовлетворение, а — в очередной раз — желание вырваться из рутины, творческое бессилие и желание перемены. Перемена наступила,

но трагическая: в 1981 году Рубин погиб в автомобильной катастрофе. Рассказав о жизни своего героя, Зеленина перешла к характеристике ее эго-документального контекста. Первый раздел составляют собственные эго-документы Рубина, которые показывают, насколько его автохарактеристики в позднейших интервью не соответствуют реальности, запечатленной в ранних письмах и дневниковых записях: если постфактум Рубин представляет себя как человека, с молодых ногтей ощущавшего себя диссидентом и евреем, то ранние документы зачастую свидетельствуют о неплохой вписанности в советский контекст. Второй раздел включает в себя эго-документы родных Рубина, в частности его жены, которая вместе с сестрой-близнецом Рубина издала в 1988 году томик его дневников и писем, подвергнув их предварительной цензуре: отсюда вычеркнуты многие «депрессивные» фрагменты, а в воспоминаниях жены Рубин предстает не как самоед и меланхолик, а исключительно как успешный ученый и герой. Наконец, третий раздел — эго-документы современников и соратников Рубина. Зеленина сравнила судьбу Рубина с судьбой другого советского еврея, Леонида Яковлевича Липкина (1932—2018), учителя истории в московской школе, который также в течение сорока лет вел дневник и изначально ощущал свое еврейство, но не имел таких удобных условий существования, как сотрудник академического института Рубин, и потому не мог позволить себе депрессии. Из доклада следовало, что депрессия Рубина была производной его вольготного существования и неудовлетворенных амбиций. В ходе обсуждения у докладчицы спросили, стоило ли в таком случае употреблять этот медицинский термин, но докладчица от депрессии отказываться не стала. Кроме того, в ходе обсуждения были предложены две эффективные формулировки для характеристики настроения, описанного в докладе: «есть эпохи, когда неприлично радоваться» (Ольга Розенблюм) и «протест против советского оптимизма выражался в дурном расположении духа» (Мария Неклюдова).

Ольга Розенблюм (РГГУ, Москва) выступила с докладом «Тосковать общественно или “тосковать лично”? Комментарий к стихотворению Александра Кушнера на высылку Иосифа Бродского». Это стихотворение («Уснешь с прикушенной губой / Средь горьких жуликов и пьяниц»), написанное между 13 и 15 марта 1964 года, Фрида Вигдорова приложила к своей записи заседания суда на Иосифом Бродским 13 марта 1964 года, когда было принято решение о высылке поэта из Ленинграда. О стихотворении Вигдорова написала: «Если захотите кому-нибудь показать, давайте из рук». Докладчица поставила перед собой задачу показать, каким образом стихотворение Кушнера связано с записями Вигдоровой, а кроме того, восстановить его литературный контекст, как недавний, так и старинный. Упомянутый Кушнером «Овидий, первый туineaдец» отсылает, разумеется, к Пушкину и его «Цыганам». К Пушкину же через посредство Ахматовой (стихотворение «Пушкин»: «Кто знает, что такое слава, / Какой ценой купил он право...»), отсылает и кушнеровский финал: «Такая жгучая тоска, / Что ей положена по праву / Вагона жесткая доска, / Опережающая славу». Использованный и Кушнером, и Ахматовой классический четырехстопный ямб вкупе с мотивом славы, купленной дорогой ценой, отсылает также к лермонтовской «Смерти поэта». Это — хронологически далекие контексты, но докладчица напомнила и о контекстах более близких: более очевидном «Рождественском романсе» самого Бродского, написанном тем же размером и проникнутым той же тоской («Плывет в тоске необъяснимой»), и менее очевидном стихотворении Александра Павловича Тимофеевского «Ночной поезд» (1958). В этом стихотворении, так же как и в написанном десятью годами позже его же стихотворении «России», Розенблюм увидела целую россыпь реминисценций из русской поэзии, как классической (Некрасов), так и Серебряного века (Блок и Ахматова). Стихотворение Тимофеевского «Ночной поезд» было на-

печатано во втором номере альманаха «Синтаксис» в 1960 году, а «Рождественский романс» Бродский сочинил в 1961-м, поэтому не исключено его знакомство с текстом Тимофеевского. Но «тоска» «Рождественского романса» шире поездной тоски Тимофеевского. 25 марта 1964 года в Архангельской пересыльной тюрьме Бродский написал стихотворение «Сжимающий пайку изгнанья...», где трехсложным размером воспел «сияние русского ямба» и продемонстрировал свой выбор — писать не об общественных проблемах, а о трагической судьбе поэта (самого себя), за которой встают еще более трагические судьбы других поэтов: Лермонтова и Мандельштама. От стихов Бродского докладчица возвратилась к началу доклада — стихотворению Кушнера — и попыталась ответить на вопрос: что увидела в нем Вигдорова? По мнению Розенблюм, главным для Вигдоровой оказались реминисценции из Ахматовой, чье стихотворение «Поэт» («Подумаешь, тоже работа...») служило для нее ориентиром при правке стенограммы судебного заседания (она старалась последовательно вводить в текст слово «работа»). Правда, в ходе обсуждения некоторые слушатели усомнились в том, что для обращения к Ахматовой Вигдоровой требовался посредник в лице Кушнера, и предположили, что она могла послать его стихотворение Чуковской просто как отклик на актуальную тему, но это предположение на фоне россыпи реминисценций выглядело слишком очевидным и скучным. Итог дискуссии подвела Мария Неклюдова, справедливо напомнившая о существовании у литераторов одной эпохи общекультурного кода и общего набора ассоциаций, которые не зависят от знакомства с тем или иным конкретным текстом.

Два последних доклада перенесли слушателей из России в Англию. Первый из них прочла Анна Стогова (ИВИ РАН / РГГУ, Москва), и назывался он «*«Каждое мое утро начиналось с Пипса и кофе. Не представляю себе, как я буду теперь...»*: о современной культуре чтения дневников». Сначала докладчица напомнила, кто такой Сэмюэл Пипс (1633—1703). Чиновник английского морского ведомства, он вошел в историю культуры благодаря подробнейшему дневнику, который вел почти десять лет (1660—1669) и который был впервые издан в 1825 году, а с тех пор неоднократно переиздавался и становился предметом анализа. Но Стогову интересовало в данном случае не сам дневник, а способы его чтения; она изначально высказала утверждение, что хотя дневники всегда полны живой жизнью, чтение их, как правило, проникнуто меланхолией: мы, читатели, уже знаем, чем все кончилось, а кончается все всегда смертью автора. Тем не менее некоторые читатели проглатывали дневник Пипса с интересом, но без эмоций — во всяком случае, об этих эмоциях из их собственных дневников мы ничего не узнаем; так читала Пипса пятнадцатилетняя Вирджиния Вулф. Зато меланхолией проникнуто издание последних дневников Пипса, выпущенное в 2004 году; эти записи Пипс вел уже после вынужденной паузы: он прервал ведение «главного» дневника из-за резкого ухудшения зрения. Зрение потом восстановилось, но стиль дневника изменился, и публикатор отмечает это с явной грустью. Впрочем, об эмоциях издателей и читателей Пипса с гораздо большей подробностью позволяет судить грандиозный интернет-проект, затеянный и осуществленный уже в XXI веке англичанином Филом Гиффордом. Вообще, несмотря на всеобщую любовь англичан к Пипсу, мало кто читал этот дневник, полное издание которого составляет девять томов текста плюс два тома справочных материалов, целиком. Читают в основном сокращенные издания (сходным образом и русские читатели знают Пипса по сокращенному изданию в переводе А.Я. Ливерганта «Домой, ужинать и в постель»). Но проект Гиффорда полностью изменил эту ситуацию. Собственно, проектов было даже два: первый стартовал 1 января 2003 года, а затем продолжался одновременно со вторым, начатым в апреле 2008 года, и оба они завершились одновременно 31 мая 2012 года.

В рамках более позднего и более простого проекта дневник публиковался в твиттере по несколько кусочков в день без сюжетной логики; в более раннем и более сложном проекте на специальной странице каждый день в одно и то же время появлялась новая дневниковая запись Пипса за определенный день, воспринимавшаяся как часть единого текста. Напротив, в более простом проекте дневник как единый текст не воспринимался, Пипс же предстал пользователям как современник, «свой парень», на которого они в комментариях экстраполировали собственный опыт и которому рассказывали о сходных случаях из собственной жизни: у Пипса сломалась карета, а у меня не завелась машина. В более сложном проекте Пипс предстал своего рода автором блога, и эмоциональная вовлеченность читателей в чтение оказывалась еще более сильной; комментаторы в этом случае обращались уже не к Пипсу, а друг к другу, комментировали упомянутые в записи реалии и пытались прояснить чувства автора, порой дописывали за Пипса диалоги, порой сопровождали записи Пипса историческими комментариями, однако не списанными из «официальных» примечаний к дневнику, но добытыми самостоятельно, одним словом, обсуждали дневниковые наблюдения Пипса примерно так же, как фанаты обсуждают очередную серию любимого сериала. С просмотром сериалов чтение Пипса в интернете сближала также регулярность обращения к тексту. Дневник Пипса доступен и на других интернет-платформах, но читатели вперед не забежали, а сведения из более поздних записей считали спойлерами. В результате чтение дневника Пипса стало постоянным фактом жизни пользователей, и когда дневник и проект подошли к концу, расставание вызвало очень сильную эмоциональную реакцию, выраженную, в частности, в словах, процитированных в названии доклада. Конец дневника оказался равнозначным концу привычного образа жизни, и в этом читатели также сблизились с Пипсом, для которого вынужденное расставание с дневником стало очень травматичным. Что же касается Гиффорда, то он в 2013 году, после того как оба проекта закончились одновременно, вновь запустил их оба параллельно, и теперь пользователи читали не только Пипса, но и собственные комментарии и испытывали меланхолию по поводу этого чтения. Интерес к проектам Гиффорда не остыл и по сей день, и 1 января 2023 года произошел третий старт той же интернетовской публикации дневника XVII века.

Завершила конференцию *Ольга Вайнштейн* (ИВГИ РГГУ, Москва) докладом «*Why did she provoke so much hostility?: что огорчало Миранду Сеймур, когда она писала биографию леди Оттолайн Моррелл*». Миранда Сеймур (род. 1948) — английский литературный критик и писательница, автор биографий Мери Шелли, Генри Джеймса и др. В то же время Сеймур — аристократка, с 1994 года владелица имения Трамптон-холл в Ноттингемшире, в течение сотни лет принадлежавшего семейству Байронов, с которым Сеймур связана родственными узами. Иначе говоря, своим происхождением и образом жизни Сеймур максимально близка той своей героине, которая упомянута в названии доклада, — леди Оттолайн Моррелл, урожденной Кавендиш-Бентинк (1873—1938). И именно поэтому основная авторская интонация в биографии леди Оттолайн, написанной Сеймур, — досада и сожаление. Биограф задается вопросом: «Почему леди Оттолайн вызывала такую враждебность?», — враждебность, пронизывающую все предыдущие биографии этой незаурядной, хотя и весьма эксцентрической женщины. Несправедливы по отношению к леди Оттолайн были не только биографы, но и в первую очередь ее современники. Щедрая меценатка, она охотно давала приют в своем имении Гарсингтон близ Оксфорда едва ли не всем знаменитым писателям и художникам своего времени и, в частности, во время Первой мировой войны укрывала у себя уклонистов, не желавших воевать. Среди гостей леди Оттолайн были, среди прочего, члены группы Блумсбери (Вирджиния Вулф, Джайлс Литтон Стрейчи и др.),

однако на гостеприимство они ответили ей прозой, в которой изобразили ее весьма недоброжелательно. Вулф нелестно изобразила ее в романе «Между актов» (1940). Д.Г. Лоуренс вывел леди Оттолайн в сатирическом виде на страницах романа «Влюбленные женщины» (1920), а ее роман с садовником положил в основу романа «Любовник леди Чаттерлей» (1928). Молодой Олдос Хаксли ввел издевательское изображение леди Оттолайн в свой ранний роман «Желтый Кром» (1923). В заключительной части доклада Вайнштейн постаралась объяснить, какие реальные черты леди Оттолайн провоцировали на ироническое отношение к ней современников. Прежде всего, это экстравагантная внешность: высокий рост (190 см) и яркая богемная одежда, которую леди частично покупала, а частично заказывала собственной портнихе на основе полотен западноевропейских мастеров. Эта смелая целостность ее облика трактовалась современниками как наглость; вызывала скандалы и ее бисексуальность. Все эти неліцеприятные отзывы современников повлияли на биографов леди, и именно с ними ведет полемику Миранда Сеймур. Если большинство биографов описывали леди Оттолайн сквозь эту искажающую линзу, то Миранда Сеймур, благодаря своему аристократическому происхождению получившая доступ к архивам, предлагает сменить оптику и восстановить справедливость в оценке своей героини, чьи дневники и мемуары были после ее смерти изданы мужем с существенными купюрами. Неблагодарности современников и позднейших биографов Сеймур противопоставляет собственную благодарность. В ходе обсуждения доклада Ксения Гусарова напомнила о роли мизогинных стереотипов в сочинении таких «неблагодарных» биографий. Со своей стороны, Вера Мильчина предположила, что проблема шире отношения к героине-женщине; речь следует вести о незащитности героя любого пола, особенно покойного, перед его биографами. Мария Неклюдова заступилась за предшественников Миранды Сеймур, справедливо напомнив, что аристократы очень неохотно допускают к архивным документам людей не своего круга.

На конференции, посвященной печали, было рассмотрено немало грустных сюжетов, однако финал ее прозвучал скорее оптимистично: если Миранда Сеймур сумела реабилитировать свою героиню, это внушает надежду и на исправление других несправедливостей.

Вера Мильчина

Международная научная конференция «XVI Гаспаровские чтения»

(ИВГИ РГГУ, 15–18 апреля, 24 сентября 2022 года)

DOI: 10.53953/08696365_2023_180_2_413

I. Секция «Стиховедение»

Заседания стиховедческой секции состоялись 15, 16 и 18 апреля.

Открыл первое заседание *Александр Петров* (Институт языка, литературы и истории Карельского научного центра РАН, Петрозаводск). В его докладе «*3-иктный тактовик в русских былинах*» была предпринята попытка подвергнуть критичес-